

Предисловие к «Трем товарищам»

Новые Известия - 1999 - 3 авг. - с. 7

«Современник» закрывает сезон традиционно позже других столичных театров. Галина ВОЛЧЕК, всей душой стремящаяся в любимые ею Карловы Вары, досиживает последние рабочие дни под ледяной струей из кондиционера. Поверх элегантно голубого костюма наброшен простой грубошерстный платок. «Так дышать нечем, а так зябко...» — к началу августа даже железный худрук может позволить себе ворчливые интонации. Помощники суетятся вокруг, тискают грушу манометра. «Мой водитель говорит: я раньше думал, режиссер — это значит тут тебе кофе, тут цветы... А вы каждый день спускаетесь в зал — в темноту, в духоту, как в забой... Сто сорок на восемьдесят? Вроде не криминал, чего ж такое самочувствие гадкое, а?..» Случайные свидетели интимной процедуры помалкивают, однако вариант диагноза такой: ГБ устала. Сезон у нее выдался трудный. Зато в последние предпусковые дни без анонсов, под замену, для рядовой театральной публики несколько раз прогнали «Трех товарищей» — новое режиссерское творение Волчек. Официальная премьера и подробный рассказ о спектакле — осенью.



МИХАИЛ ГИТЕРМАН

— Галина Борисовна, почему вы захотели поставить такую грустную вещь?

— А жизнь веселая, да?

— Ну как сказать. Временами вполне.

— Ты думаешь?..

Во всяком случае эта вещь совпадает с моим нынешним ощущением мира. С моим настроением. У спектакля есть подзаголовок, посмотри, там сзади афиша: «Хроника городской жизни Германии на рубеже 20-х — 30-х годов». Главное в «Трех товарищах», по-моему, — душевное и психологическое послевкусие войны, причем проигранной войны. Время накануне прихода фашизма, когда, по выражению самого Ремарка, одни маршируют под нацистские марши, а другие — под «Интернационал». Люди живут в обстановке экономического краха. На неуютной земле, в неуютном обществе, на сквозняке. Ничего не могут удержать, теряют последнее, жертвуют самым дорогим, что имеют, и все равно бессильны перед этой жизнью.

Спектакль получился длинный, слишком длинный, придется, наверное, сокращать, хотя я и так полчаса уже вырезала. Но мне было неинтересно взять одну только камерную историю любви и смерти. Это очень густонаселенный спектакль. Для меня важно, чтобы публика узнавала второстепенных и даже эпизодических персонажей — инвалидов в коляске, разносчиков... Важна среда, в которой происходит то, что происходит.

Когда одну и ту же книгу перечитываешь в разном возрасте, она оставляет совершенно несхожие впечатления. Скажем, «Войну и мир» я прочитала приблизительно в восемнадцать лет, потом где-то в тридцать, а потом долго не притрагивалась. А год назад, зимой, закрылась с романом на целых две недели. И заметила, что читаю не просто в два раза медленнее, но совершенно другими глазами. То же самое с «Тремя товарищами». От тех давних лет, когда они только появились и вся Москва ими зачитывалась, у меня сохранилось какое-то благостное, розово-голубое воспоминание. Теперь оно выветрилось без следа.

Мы очень много приобрели к концу века. Страшно много. Космос, Интернет, мобильная связь... Я помню, в 1990 году «Современник» был на гастролях в Сизэле, мы шли по улице, и наш продюсер вдруг достал из кармана сотовый телефон и начал с кем-то разговаривать. У нас возникло ощущение, будто мы высадилась на Луне... Но я хочу сказать, что на фоне этих фантастических приобретений целый ряд вещей, очень важных, безвозвратно утерян. В том числе чувство товарищества. Не дружбы, нет, дружба — это частное. Товарищество я понимаю значительно шире...

— Как вы понимаете товарищество, команда «Новых Известий» хорошо представляет. Два года назад вы в числе первых горячо поддержали создание нашей газеты...

Однако всякий, кто пытается сегодня предложить публике произведение серьезное и, мягко выражаясь, невеселое, может столкнуться с естественным отпором. Даже зрители, испытывающие ностальгию от словосочетания «Три товарища», не говоря уже о более молодых, — захотят ли они лишний раз душевно напрягаться, «врубаться» в печальную и в общем безысходную историю?

— Могу сказать одно: по первым проанам я поняла, что у нормального человека после спектакля не

возникнет вопрос, зачем «Современник» поставил «Трех товарищей». А театром для народа мы никогда не были. Я не люблю это слово, оно ничего не значит, оно дискредитировано. «Три товарища» сделаны не для народа. И не для театральных критиков...

— Да, это же вам принадлежит афоризм, который якобы является девизом сегодняшней критики: «Не любите ли вы театр так, как не люблю его я?»...

— Тех, кто работает в газетах, я критиками не считаю. Для них должно быть какое-то другое определение. Скорее всего, театральные журналисты. И когда речь идет именно о журналистике, понятно, с какой целью человек пишет, на какую аудиторию его рецензии рассчитаны. Газеты я читаю. А специальные театральные издания — нет. Какая сверхзадача у критиков — получить одобрение от себе подобных? «Ты понял, как я ее поддел?» А ты заметил, как я ему вмазал?..»

Ну ладно, Бог с ними. Так вот, ни для критики, ни для народа я никогда не работала. Мне интересны люди. Зная, какая у меня самая сильная эмоция? Когда сижу в машине или просто иду по улице, а мимо проезжает грузовик с надписью «Люди» на борту. От этого всегда бывает комок в горле и какой-то нервный спазм. И жутко, и стыдно, и страшно, и жалко... Для меня люди — персонифицированное понятие. Только с отдельным человеком можно установить то, что называем обратной связью.

Моим режиссерским дебютом были «Двое на качелях» Гибсона. 1961 год. Тогда только-только появилась такая драматургия с новым для нас, конечно, типом человеческих отношений, другими героями. Прежде мы знали два типа героев — положительный и отрицательный. Положительный — тот, у кого «активная жизненная позиция». Скажем, Андрей Болконский в этот разряд уже не попадал. Работа души стоящей деятельностью не считалась... Ну и вот возникла мода на определенные пьесы, и сразу же закрепилась такие режиссерские иероглифы сложности. Чем завереннее, чем недоговореннее — тем лучше. При том что мы практически ничего не знали о западной жизни. Честное слово, в одном московском театре я видела спектакль, где герои пили кока-колу и пьянели...

Значит, 61-й год. Мы с Таней Лавровой и Мишей Козаковым собираемся втроем в пустой комнате и репетируем. Наступает момент, когда первый акт готов. Необходимо срочно его кому-нибудь показать. Я выскрываю из театра, из старого «Современника», на площадь Маяковского, зимой, без шапки, в пальто внакидку, и начинаю выискивать среди прохожих самое нетеатральное лицо. Через полчаса, когда я уже окончательно заочелна, вижу, идет человек, с виду похожий на приезжего, в руке авоська с апельсинами. Я к нему: «Товарищ, извините, вы москвич?». Он говорит: «Нет», — и шарахается от меня в сторону, потому что вообще не принято было заговаривать с людьми на улице, а тут еще какая-то подозрительная баба, видно, давно торчит на углу, замерзла... Я за ним: «А вы откуда?» — «С Донбасса». — «В командировке?» — «Ну». — «В театре когда-нибудь были?» — «Никогда». — «Сорок минут у вас есть?» — «А зачем?»... В общем, затаскала я его в театр, привела к ребятам, посадила на стул, авоську с апельсинами он поставил рядом, и мы показали ему первый акт. Потом начали зада-

вать вопросы. Очень простые. Чтобы выяснить, понял он, в чем там дело или нет. Видим — понял. «Спасибо, мы вас больше не задерживаем». Он поднялся со стула, взял свою авоську, посмотрел на нас растерянно и пошел к выходу. Но тут же вернулся и говорит: «Так вы скажите, что с ними дальше-то будет? Я ведь теперь думать стану...»

— Вообще это на вас похоже. Я думаю, вам с человеком с улицы должно быть интереснее, чем во внутритеатральной тусовке. За столько лет не надоело — нет, не дело, конечно, не профессия, а общение с театральными людьми? Не самая искренняя компания, прямо скажем...

— Бог избавил, я не из этой тусовки. Многих в отдельности очень люблю, но в массовых сборищах никогда не участвую. Понимаешь, меня на протяжении 27 лет били по голове. До этого, пока была никем и ничем, только гладили. А когда взяла театр — начали бить. Ни к кому лично претензий не имею, но и крутиться там не хочу. Всякое коллективное мероприятие для меня оборачивается лишним напоминанием о моей трудной, несправедливо трудной, гадостно трудной жизни...

— Ваши последние слова, видимо, можно считать ответом на вопрос: почему женских имен в режиссуре у нас практически не прибавляется?

— Разумеется. Это невыносимая профессия. Невыносимая. А если мне удалось все вынести и вытерпеть, то неизвестно еще, нужны ли такие жертвы...

— Но появляются ведь сильные женщины в политике, в журналистике, в бизнесе...

— Я не знаю равной сферы. Здесь, помимо силы, сила у меня действительно есть — мама, царство ей Небесное, в свое время утратила меня воспитанием, и я выросла человеком, готовым к энергичному сопротивлению, но, помимо силы, необходимо абсолютное терпение. Чего-то не слышать, на что-то не реагировать, то и дело загонять свои амбиции в дальний угол... И постоянно жить волей к победе.

— Каковы методы вашей «прессуры»? Что вам помогает держать в подчинении такое количество самолюбив?

— Актеры сдаются перед предчувствием успеха. Кроме того, я требую от них предельной откровенности. И сама плачу им тем же. Если надо для работы, не стесняюсь перед ними раскрыться. Но и в них внедряюсь очень глубоко...

Проблем, конечно, море. Старшие позволяют себе расслабиться, за ними сразу тянется молодежь. Сейчас артисты выход в массовой сцене воспринимают как личное оскорбление. Была бы возможность, они бы привели ко мне комиссию по правам человека...

Я не знаю, сколько в моих спектаклях женского. Знаю, сколько там меня. Я там вся. «Три товарища» дались тяжело, как, наверное, ничто раньше. Девять месяцев — видишь, даже какая-то пошлая символика прослеживается, как это ни противно, — так вот, девять месяцев я вообще не жила. Забросила все, всех, здоровье собственное забросила. Были срывы, замены, конфликты, много раз приходилось начинать сначала... Впервые в жизни мне захотелось сесть и написать именно про этот спектакль. Не для опубликования, в стол, но хотя бы на бумаге выговориться, чтобы полетало...

— В ваших спектаклях сочетаются противоположные вещи. С одной стороны, вы очень остро реагируете на социальные проблемы; в каждой

постановке «Современника», сделана ли она вами или приглашенным режиссером, непременно присутствуют конкретные иногда слишком конкретные болевые точки. Однако для меня, например, очевидно, что никакого отторжения между вами и сегодняшней действительностью нет. Чрезвычайно редкое соединение совести с оптимизмом.

— «Отторжения» нет и быть не может. Это понятие не из моего словаря. Я по натуре человек деятельный.

— С «активной жизненной позицией»?

— Ну не совсем. Просто неравнодушный. Порой до глупости. Зимой мы были во Владимире, утром пошли в храм, там на паперти стояла бабка. Так я час возле нее проторчала. Надо мной уже потешались. А мне хочется вмешаться в ее жизнь, хотя умом понимаю, что это невозможно.

Недавно ездила в Самару. Долго готовилась, долго бредила одной старухой, которая там живет. Ее зовут Жизель. Француженка. О ней был сюжет во «Взгляде», и кассета с этой передачей у меня со стола не сходила. Ни на одно свидание я в жизни так не рвалась, как к этой женщине. Наверное, конечно, в подсознании у меня сидело сделать историю для театра. Судьба светлая и трагическая. Но как-то не вырывается пока, а может, и не надо вовсе.

Я очень многое ценю в нашей новой жизни. Возможность видеть, ставить, ездить, не поджидать с трепетом очередную дурацкую комиссию... Мне уже двадцать лет помогает по дому такая женщина, Мария Ивановна. Их семья всегда жила очень трудно — и двадцать лет назад, и сейчас. Но ее внук по меньшей мере не бегает жвачку у иностранцев выпрашивать. И киви он хоть раз в жизни, но попробовал. И может теперь говорить: «Я киви не люблю...». Хотя, конечно, это не оправдание. Мы постоянно повторяем, что превратиться из одной страны в другую без потерь невозможно. Этот поезд мчался с невероятной скоростью в другую сторону. Но не видеть того плохого, что происходит, — для этого надо быть идиотом, пошляком, тупицей, последней сволочью...

— Из этого гражданского молота следует, что вы продолжите свою общественно-политическую деятельность? Будете баллотироваться в новую Думу?

— Ни за что! Никогда! Политика никак не соотносится с реальными людьми. Более того, в ней существует табу на человеческие отношения. Во всяком случае на то, что я привыкла называть человеческими отношениями. Политика — это ложь и выгода.

Я пыталась честно относиться к своим думским обязанностям, но, когда шла в НДР, сразу предупредила Виктора Степановича: «Если мне придется выбирать между заседанием и репетицией, я выберу театр».

— Вы не хотели бы поставить чистую комедию?

— Нет. Я не люблю комедии. Даже смотреть не люблю. Я и в кино перестала сниматься, потому что надоело смеяться.

— Вам нужен материал хотя бы на уровне Коляды — чтобы смешно, смешно, а потом ужасно жалко? Даже если есть явный перебор с сентиментальностью?

— Зная, я прочитала твою статью о спектакле Коляды и я с тобой не согласна. Его искренне хорошо принимали, без лицемерия. Немного провинциальности, немножко сентиментальности — это мелочи по сравнению с тем удовольствием, которое люди получили.

В моей жизни было три случая, когда я хотела во что бы то ни стало привести в Москву человека или спектакль. Первый — еще в совковые времена, когда я от общества культурных связей ездила в Западный Берлин, видела там «Дачников» в постановке Петера Штайна и, вернувшись, добила, чтобы его пригласили к нам, хотя бы в одиночку, для знакомства. Второй — тоже давно, в 1978 году. Я ставила спектакль в Хьюстоне, но перед этим провела две недели в Нью-Йорке и посмотрела на Бродвее «Игру в джин» в постановке Майкла Николса. Потом в Москве начала атаковать Демичева. Сам Николс считал это несбыточной фантастикой, но спектакль привезли... С «Кораблем дураков» Николай Коляды — третий случай. Мне просто хотелось поделиться тем, что я увидела. Как раньше, когда ела, что-нибудь вкусное, а Денис, сына, рядом не было, становилось невозможно жалко...

— Кстати, о Денисе. Как вам поправился его «Мама»?

— Это очень сложный вопрос. Не могу ответить однозначно. Не могу быть объективной...